

Владимир Горбачев

РАССКАЗЫ

ЧЕМОДАН

Обстоятельство времени: давным-давно. Обстоятельство места: у Люси и Кости, в их квартире на Стрелке. Точнее говоря, квартира была не их, а доцента Пастухова, который ее сдавал в связи с возникшим чувством к инженеру-проектировщику Ольге Васильевне, у которой и проживал последние три года. Сдавал, конечно, неофициально, и Люся, коллега доцента Пастухова, снимала (Костя в этой транзакции вообще не значился; кто такой?) тоже неофициально, с обещанием платить вовремя и сидеть тихо. И сидели тихо по мере возможности, хотя и не всегда. Особенно если заходили молодые поэты Валя и Юра, и художник Хмурнов, и Женя-скрипач, и Алла из музея, и кто-нибудь еще, и Костя бегал в ближайший магазин за рислингом и «Роз де масэ», и начинались — пока сердца для чести живы! — споры на кухне, и все дышали воздухом свободы.

Дышалось на Стрелке замечательно, полной грудью, потому что дом стоял далеко от дороги, под горой (ну, это так называлось — «под горой», на деле имелась возвышенность столько-та метров, возведенная традицией в более высокую степень), и оттуда, с горы, лился в окна взлохмаченный лесной воздух, полный трав и листьев. Там были чабрец, и мята, и полынь, и липовый цвет, и незримая ось мира проходила через эту квартиру, примерно в районе стола, и Вселенная вращалась вокруг собравшихся за столом. Легко там дышалось, на Стрелке, и думалось легко, и сколько всего там было услышано и воспринято! Так что Григорий любил туда ходить. Никуда не шел с таким биением сердца, как в квартиру на третьем этаже.

Вдруг получилось известие, что квартиру надо освободить. Срочно, в три дня. Что-то там у доцента Пастухова с Ольгой Васильевной напряглось и лопнуло, и он должен был немедленно вернуться на принадлежавшую ему жилплощадь. И Григорий, ничего такого не ожидавший, придя в квартиру на Стрелке в обычное время, часам

к семи, застал там хаос, рукописи на столе, книги на полу, мешки, чемоданы и художника Хмурнова, помогавшего укладывать и увязывать. Костя отсутствовал — побежал искать машину. Обязательно нужно было найти машину, потому что обычным порядком, то есть на трамвае, с пересадкой, утащить все добро было невозможно. К тому же имелись еще румынский книжный шкаф и пара стульев, нажитые усилиями Люси в процессе репетиторства. Шкаф бы в трамвай точно не полез.

Кости не было, трехлетней Ирины, Люсиной дочери от первого брака, тоже не было — она вместе с котом Барсиком была заблаговременно отвезена на Рабочую улицу, к Эсфири Владимировне, Костиной маме, у которой вся семья была прописана и куда должна была отправиться вслед за Барсиком. Отправиться — и жить, пока не будет найдена новая площадь. Если только дни, проведенные в обществе Эсфири Владимировны, можно было назвать жизнью. Потому что Костина мама, по сведениям, полученным Григорием от Люси, а отчасти от самого Кости, была человеком добрейшим, но невыносимо навязчивым и говорливым. При ней было невозможно никакое общение, никакие споры и совместное вдыхание воздуха свободы. Так что разговор о новой жилплощади возник сразу же, как только было получено известие о переезде, и продолжался в процессе увязывания, но к результатам пока не приводил — адреса на примете не имелось.

Григорий набивал мешки, обвязывал бечевкой книги, а сам размышлял о том, что сегодня, видимо, уже не удастся поделиться с хозяевами покидаемого жилья началом нового рассказа — только что, ночью, написанными двумя страницами. Возможно, это будет даже не начало, а половина всей вещи — ничего пока не известно, окончание пока в туманной дали, полной предчувствий. Он всегда, как только рождалось что-то новое, бежал к Косте и Люсе. Они, конечно, были люди иного круга и иногда разговаривали с ним — нет, не свысока, но как-то так доходчиво, выбирая выражения, чтобы он понял, — но при этом всегда выслушивали и делали замечания. А иногда давали советы. Обсуждение новых замыслов с Костей и Люсей в последний год стало привычкой и насущной потребностью. Вот и сейчас — поделиться хотелось отчаянно, рожденные страницы, горячие, прямо из печки, вертелись на языке, отдельные фразы залезали то в горло, то в нос, так что Григорий даже чихнул пару раз,

хотя был абсолютно здоров. Но устраивать сейчас читку было, конечно, неудобно.

Внезапно Люся вышла из второй, маленькой комнаты, которую называли детской. в руке несла небольшой коричневый чемодан — обычный фанерный чемодан, оклеенный дерматином, с никелированными заклепками по углам и черной пластмассовой ручкой. Несла с трудом — вещь, как видно, была тяжелая. Принесла и поставила перед Григорием. После чего, глядя то на него, то на принесенный предмет, произнесла следующее:

— Может, ты возьмешь? У Костиной мамы его хранить негде. Мы сами не знаем, как уместимся, а еще это.

— А что это? — спросил Григорий.

И Люся, все так же поглядывая на чемодан, как глядят на кошку или собаку, чья судьба определяется в данный момент, рассказала следующее. в фанерном ящике, оклеенном дерматином, хранились черновики, рукописи, письма — в общем, все, что осталось от писателя Иннокентия, жившего в Балаково. Все его творческое наследие. Иннокентий, по словам Люси, был человек большого таланта. Писал как стихи, так и прозу — небольшие рассказы, эссе и сказки. Увлекался сочинительством чуть ли не с детских лет; одних стихов было создано сотни две. Пробовал, конечно, публиковаться, посылал свои творения туда и сюда, выступал на семинарах молодых авторов. Но напечататься смог только дважды: три стихотворения в областном журнале «Волга» и в прошлом году, в альманахе «Зори», рассказ в полстраницы. Два года назад начал большую вещь, давно задуманный роман, но успел написать только треть. Продолжить работу помешала болезнь. У Иннокентия была редкая, еще не изученная форма туберкулеза, против которой были бессильны антибиотики. Сам он полагал, что свою зловещую роль сыграл здесь и факт его проживания в непосредственной близости от сердца мирного атома. Врачи с этой теорией были категорически не согласны и обвиняли Иннокентия в том, что идет на поводу у сплетен. Так или иначе, но вылечить его не могли.

Он хотел уехать оттуда. Считал, что жизнь в Саратове его спасет, что вдали от энергоблоков и подстанций его легкие очистятся, кровь веселей побежит по жилам (а воздух с горы? а мята с чабрецом?), и он воспрянет к новой жизни. И Юлия так считала. Юлия была подруга Иннокентия, можно сказать, жена. Они вместе с Люсей готовили переезд,

сняли для поэта комнату в частном секторе, в Затоне, очень дешево. Люся даже специально ездила в Балаково, чтобы помочь с переездом. Но как-то не сложилось. То ЖЭК справку не выдавал, то деньги кончались. Один раз они с Юлей совсем было собрались и вещи сложили, но тут у Иннокентия резко ухудшилось состояние, поднялась температура, и переезд пришлось отложить. Он говорил — там, в палате на восемь коек, в больнице, куда Люся приезжала его проведать, поддерживать, — еле слышно шептал ей, что это, очевидно, судьба. Что это не справка, не военкомат с его открепительным, не деньги, а нечто роковое, неодолимое держит его в городе атомщиков, откуда шагают по полям и холмам — далеко, далеко шагают — могучие опоры и текут по проводам миллионы киловатт. Что его кровь, его мозг отравлены этими киловаттами и продуктами недавно построенного химкомбината, что его жизнь находится в обратной зависимости от успехов индустрии. Что никуда он не уедет, так и умрет здесь, в больнице, или же на квартире, что они с Юлей снимают на улице XVI партсъезда. И что он просит Люсю и Юлю, этих двух самых близких людей, об одном — чтобы, когда его будут хоронить, положили с ним в гроб томик Мандельштама, недавно вышедший в серии «Библиотека поэта».

Выход этой книги был событием, все только об этом и говорили. Достать ее было невероятно трудно, тираж мизерный, до магазинов практически ничто не дошло, но Люся — специально для Иннокентия — достала. Знала, как он любит погибшего поэта, собирает его стихи — по строчкам, обрывкам, из журналов, из мемуаров разного рода деятелей, — записывает в особую тетрадку. Люся пошла ради этого на шаг неприятный, даже унижительный, обратилась к своему бывшему мужу, занимавшему важный пост. Старалась никогда этого не делать, только чтобы достать лекарство для Иринки или — для нее же — путевку в санаторий. А теперь вот попросила книгу. И спустя короткое время получила и привезла Иннокентию в больницу. Хотела его порадовать, и даже — безумная мысль! а вдруг? — как-то повернуть его болезнь, погнать вон. Бывают же чудеса.

Иннокентий подарку и правда ужасно обрадовался. Сразу же попросил принести бумагу, обернул синий томик. Читал его всякую свободную минуту, когда не было процедур и обходов, и ночью клал под подушку. А теперь — вот, изложил такую необычную просьбу. Люся ответила, что сделает все, как он просит, только зря он опустил руки. Надо верить; до последней минуты верить и надеяться.

Но у Иннокентия уже не было сил верить. Спустя неделю после отъезда Люси его выписали из больницы, а еще спустя неделю он умер. Так что пришлось ей снова ехать в Балаково, теперь уже вместе с Костей. И там, на улице имени XVI партсъезда, воздействовать авторитетом, потому что Юля испытывала некоторые колебания относительно последней воли усопшего — очень уж было жалко книгу. Но Люся настояла.

А после поминок, когда они уже собрались возвращаться, Юля вдруг обратилась к ним с просьбой. Вынесла в прихожую вот этот самый чемодан, обитый дерматином, и попросила забрать его с собой в Саратов. Объяснила: здесь, в этом ящике — все, что осталось от Иннокентия. Все, что смог сказать. Сама она собирается покинуть город атомщиков, не хочет оставаться здесь ни одного дня. Поедет в Москву, будет работать швеей на фабрике имени Клары Цеткин. Там у нее трудится подруга, давно зовет к себе — общежитие, неплохая зарплата, а по выходным подруга подрабатывает на «Мосфильме», участвует в массовках. Обещает и Юлю устроить, тут, говорит, ничего трудного. Вообще там жутко интересно, запросто можно увидеть Ланового, Абдулова — ну, всех. Не повезет же она этот чемодан в общежитие! Главное — зачем? А Люся могла бы попытаться что-то опубликовать. Хоть пару стихотворений в альманахе.

Отказаться было невозможно, и они взяли. с альманахом, конечно, ничего не получилось — кому нужен мертвый автор, тут и живых не печатают. Она даже не успела все толком разобрать — времени не хватало. А надо бы.

Все это Люся изложила Григорию быстро, деловито, потому что время поджимало, в любую минуту мог вернуться Костя с машиной, и тогда уже все пойдет бегом. Повторила просьбу: не может ли он взять? На время, пока они с Костей не найдут новое жилье.

Григорий был не в восторге, но отказать не мог. И предлога не было, и вообще не было такого, чтобы он Люсе в чем-то отказывал. Она была для него как гора, увенчанная снегом. Недаром в ее присутствии так легко дышалось, и веяло мятой, и ось мира проходила через ее столешницу. А тут и Костя явился с известием, что машина ждет у подъезда, и началась погрузка.

А когда она была закончена, и заперта дверь, и закрыта глава с названием «Стрелка», полная воздуха и листьев, открытый и свершений, и фургон «Продукты» с выцветшим брезентовым верхом,

взревел, словно раненый бык или, допустим, мамонт, и покатил прочь, — тогда Григорий взялся за черную пластмассовую ручку, поднял ящик, вмещавший наследие умершего поэта, и повлекся к себе домой. Нести чемодан, кстати, было не так тяжело.

После этого прошло время. Продвинулось на какое-то число дней и недель, приведенное в движение совместными усилиями Кости и Люси, Вали и Юры, Аллы и художника Хмурнова, и их знакомых, родных и коллег по работе, множества разных людей — всех живущих. И было уже совсем не лето, и нельзя было сказать «Пойду-ка я погуляю», и пойти; нет, нельзя. Ибо наступило время испытаний, время простуд.

И в один из особо морозных, особо простудных дней, когда не хотелось никуда идти, Григорий вдруг вспомнил про чемодан, лежавший на антресолях. Вдруг возникло желание узнать, что же оставил после себя поэт Иннокентий. Он достал чемодан, стер пыль (сколько ее накопилось!) и открыл крышку.

Там были тетради разной толщины, бумажные папки с веревочками, и пластиковые папки, наполненные листами формата А4. На самом верху лежала толстая тетрадь с надписью на обложке «1982–1985». Григорий открыл.

«Иногда мне кажется, — читал он, — что мы с Юлей вроде поездов, идущих по соседним путям. Они идут в одну сторону, совсем рядом, и пассажиры могут разговаривать друг с другом через открытые окна, и кто-то из детей даже может кинуть в окно соседнего поезда мячик или конфету. Но потом пути поездов расходятся, и вот уже только зеленые вагоны мелькают вдали, а потом вовсе исчезают».

«Завтра снова выхожу на работу, — читал Григорий далее. — Снова буду просеивать сквозь мозг, словно сквозь сито, месиво угрюмых слов, похожих на вялых мух, и вылавливать мух испорченных, без лапок и крылышек. Снова будут «труд, трудовой, потрудиться» со всеми производными и их скучные родственники. с какой-то стороны, я рад: надоело целиком зависеть от Юли и от маминых переводов. Буду зарабатывать («труд! трудовой!»), приносить деньги, буду, как все. Но я знаю, что уже через неделю буду проклинать газетную каторгу и ждать, когда новый приступ избавит от нее».

«Чтобы тайна могла спрятаться между слов и жить там, слова должны стоять густо, — писал Иннокентий, — как деревья в чаще,

должны расти, пускать корни и побеги, давать приют птицам в ветвях и мышам у корней».

Григорий понял, что перед ним дневник, видимо, последняя часть. Были и другие тетрадки с датами, за более ранние годы. Он отложил их в сторону, стал смотреть дальше. Дальше была тетрадь со стихами. «Наводит город штукатурный глянec, \ благоухает пыльная природа, — писал Иннокентий. — Несет дитя из магазина ранец, \ картошку руют в полосе отвода». Запомнилось еще такое: «Перекручены ленты дорог, \ перепутаны петли событий. \ Я шагну за высокий порог, \ оглянусь». Стихов было много, несколько сотен. Григорий когда-то, в ранней юности, тоже рифмовал, но давно оставил это занятие. Так что тетради со стихами он тоже отложил.

Под стихами лежали черновики — двенадцать толстых и несколько тонких тетрадей. Там были планы рассказов и повестей, их первые фразы, варианты продолжения, имена героев — целые столбцы имен и фамилий. Были наблюдения, метафоры, размышления. Григорию запомнилось следующее.

«Пробился утренний луч, словно отряд спасателей к терпящим бедствие».

«Облако, полное сомнений».

«Асфальт блестел, как башмаки маньяка».

«Все в жизни надо заслужить, выстрадать: весну, восход солнца, вечер на реке».

Было еще много подобных наблюдений; все это можно было позже посмотреть еще раз, внимательнее.

Внизу, на самом дне, находились произведения законченные или почти законченные: пять рассказов и начало романа — того самого, что Иннокентий писал два последних года. Все было напечатано на машинке — второй или третий экземпляры. Первые экземпляры, видимо, остались в редакциях, куда их посылал автор. Григорий прочитал два рассказа, пролистал начало романа. Написано было тщательно, тонко, встречались интересные наблюдения, вроде тех, что он видел в черновиках. Особенно понравился Григорию один рассказ, который заканчивался как-то вдруг, когда читатель этого никак не ожидал.

Он выгреб все, до самого дна, и теперь сидел перед грудой рукописей мрачный, словно обманутый муж. Зачем он только открыл этот чемодан? Было то же самое, что приоткрыть дверь в мир теней.

Вот: жил человек, размышлял, мечтал, писал, мучился. И вот плоды его трудов и сомнений. И для кого они? Для чего? Два рассказа где-то там напечатаны. А остальное? Двенадцать тетрадей черновиков с их наблюдениями и раздумьями — кто будет их изучать? Думать о продолжении начатого? А дневник? А стихи? А роман? Роман, это самое дорогое, самое любимое детище Иннокентия — скорее всего, не читал никто. Никто! И Юля не читала (после знакомства с дневником Григорий был в этом почти уверен), и Люся. Он, Григорий, был его первым читателем. И последним.

Да и не в Иннокентии дело! Бог с ним, с Иннокентием. Зайдя в этот мир теней, он словно заглянул в свой завтрашний день. Вдруг он тоже заболит? Попадет под поезд? А даже если и не попадет, а просто будет вот так же биться, биться, как бьется уже пять лет — и все впустую? Иннокентию в редакциях отвечали, что не раскрыты характеры современников и проблемы эпохи, и ему отвечают примерно то же. И вот, получив еще десять, пятнадцать отказов, он умрет, и все самое дорогое, выстраданное, над чем ночами не спал, родители свалят в такой же фанерный ящик и засунут на антресоли. И будет там лежать, пока новые жильцы не выкинут все это барахло на помойку.

Он очень ясно представил, как это произойдет: некий гражданин с лицом трамвайного контролера вынесет чемодан к мусорному баку, откроет и вывалит содержимое — все эти папки и тетрадки. А чемодан унесет обратно, в квартиру: пригодится на дачу вещи перевозить. Вот так все и закончится.

Да, но ведь еще не вечер. Он не живет в Балаково, не болен редкой болезнью, не обременен легкомысленной подругой, у него есть характер, есть способности, и он способен все изменить. И, сидя перед грудой чужих рукописей, он дал себе клятву пробить эту стену. Приложить все силы, но пробить.

Он сложил наследие Иннокентия в его фанерное вместилище и засунул чемодан, где был. Оставил только две тетради черновиков с наиболее интересными наблюдениями. И тут же сел за стол, раскрыл машинку и вставил чистый лист. Работать! Работать!

К весне он закончил небольшую повесть. в литобъединении повесть оценили по-разному: одни хвалили, другие разнесли в пух и прах. Однако Степан Николаевич одобрил и дал направление на общесоюзный семинар в Переделкино. На мероприятиях такого уровня

Григорий еще не бывал. Вел семинар знаменитый писатель — живой классик, полный, мрачный человек в очках с толстыми стеклами. о произведениях участников он отзывался сдержанно, был скуп на похвалы, но повесть Григория отметил. Похвалил неоконченность произведения, открытость финала. А еще обратил внимание участников семинара на ряд интересных наблюдений, острый глаз молодого автора. Даже процитировал два отрывка: один про асфальт, блестящий, словно ботинки убийцы, и еще один, где друзья, герои повести, сравнивались с двумя поездами, идущими по соседним путям.

ГОРАЦИЙ

Пока жив человек, томят его желанья. Вот Пастухову, например, страстно хотелось прочесть хотя бы несколько лекций не в родных стенах, а в Москве или Питере, а лучше в Кембридже (почему бы и нет? почему бы и нет?), и потому он часами напролет сидел перед экраном, грыз гранит, заострял мысль и зубы стачивал. А Марина, будучи моложе мужа, имела желания разные, но одинаково сильные. Так, она хотела иметь детей (непреренно нескольких), научиться готовить, как подруга Таня (у той торты получались просто чудные), путешествовать по разным странам (пусть будет Кембридж, но также Венеция, Пхукет и Майорка), а также иметь пушистое существо, которое можно было бы гладить и прижимать. Вы скажете, что эти стремления противоречивы, возможно, даже несовместимы. Скажете — и будете правы. Но в том-то и философия зарыта, психология одесную, что в человеке эти враждебные стремления как-то уживаются и взаимодействуют.

В результате такого взаимодействия Марина однажды вернулась домой, неся в сумке рыжее существо размером с ладонь.

— Смотри, какая прелесть! — сказала жена, поднеся существо мужу к рабочему столу.

— Ты бы еще на клавишу его посадила! — возмутился Пастухов. — Чтоб нагадил. Это что — кот? Значит, будет по девкам ходить и углы метить. И вообще, у нас птица! о чем ты думала?

И устремил на существо взгляд, полный подозрения. Кот тоже взглянул на Пастухова — внимательно, но без всякой неприязни. Карие глаза встретились с зелеными, и Пастухов покачал головой.

— Надо же! — сказал он. — Кешу надо будет выше перевесить. Ему сколько?

— Мне сказали, два месяца.

— А он к горшку приучен?

Кот прошелся по комнате, легко — легче кенара — взлетел на спинку дивана, оттуда на шкаф, с него спрыгнул на телевизор, на пол, и снова вверх — на книжную полку.

— Да он акробат! — сказал Пастухов.

Специально купленный Мариной кошачий туалет гость проигнорировал. Вместо этого забрался в ванну, поскребся там, замер — и вышел, оставив два коричневых комочка.

— Вот, тоже, нашел место! — возмутился Пастухов и пошел за совком.

Вернулся в комнату — кота нигде не было видно. Позвал:

— Кис-кис-кис!

Рыжее существо выскользнуло из-за шкафа, глянуло внимательно.

— Нет, так не годится, — сказал Пастухов. — Что же он у нас, так и будет «кис-кис»? Надо его назвать.

— Может быть, Васей?

— Банально. И слишком по-человечески. Может, мы ребенка так назовем? Пусть будет... пусть будет...

Перебрали десяток имен, Пастухова ничто не удовлетворяло. Тут его взгляд упал на экран монитора, где висел над пустотой только что начатый текст новой лекции.

— Знаю! — возгласил Пастухов. — Пусть будет Квинт Гораций Флакк!

— Кто-кто?

— Да Гораций же, Гораций! «Я памятник себе воздвиг...» Рим, классика. Ты понял? Тебя зовут Гораций.

Он присел на корточки и наклонился к существу, получившему от человека имя, как бы заново рожденному. Кот поднял лапу и потрогал ставшее близким лицо — мягко так потрогал, просто познанился.

— Надо же! — сказал Пастухов. — А что он ест?

— Мне сказали, все, — ответила Марина.

Как выяснилось, Гораций действительно ел все, но предпочитал сырую рыбу — пусть даже бросовую, мороженую, минтай какой-нибудь. Едва на кухню вносили пахучий пакет, разворачивали, кот вбе-

гал стремительно, с урчанием, и начинал описывать вокруг хозяев круги. А когда миска наполнялась, склонялся над ней и опустошал.

Урчание было, можно сказать, единственным звуком, который кот признавал. Общепринятый зов, с которым кошки всего мира обращаются к людям, Гораций издавал редко, только когда сталкивался с непреодолимым препятствием. А в доме их, в общем, и не было.

Марина, заводя пушистого друга, мечтала о том, как будет нежиться в кровати, запустив пальцы в шерсть и слушая ласковое «мурлы-мурлы». Однако ее мечты развеялись в первую же неделю. Выяснилось, что Гораций: 1) не любит, когда в его шерсть запускают пальцы; 2) пресловутым «мурлы», этим кошачьим эсперанто, пользуется редко и еле слышно; и 3) вообще предпочитает иметь дело с Пастуховым, а не с Мариной.

— Кажется, он признал во мне хозяина, — заявил Пастухов. — Возможно, даже друга. Что ж, я рад. Человек издавна стремился обрести в животном царстве не просто помощника, а живую душу, с которой возможно общение. Отсюда все эти сказки, Кот в сапогах, Сивка-Бурка, вещей Ворон...

— Нильс с гусями... — подсказала Марина.

— Верно, верно! А роботы? А пришельцы? Что значат все эти поиски другого разума? Что такое этот другой разум? Тот же Серый Волк, зубами щелк, Винни-Пух или голован Щекн. Иное сознание, понимаешь? Разум, как у нас, но по-иному устроенный, и с ним делиться можно. Вот мечта. И мы стремимся... Вот как мы стремимся, вот как! Хороший кот!

Гораций, углядев опущенную с дивана руку Пастухова, терся о нее, утверждая свою с человеком общность. о Марину редко терся. И когда она домой возвращалась, не встречал. А Пастухова встречал всегда. Открывая дверь квартиры, тот видел устремленные на него зеленые глаза.

— Нам надо определиться, — сказал Пастухов по прошествии двух месяцев. — Будем его кастрировать, или как?

— Вообще-то надо. Вот Таня своего не возила, так он иногда настоящий дьявол делается. Кидается на всех, кусает.

— А с другой стороны, он тогда половину своего естества потеряет. Будет толстый, ленивый. Мы хотим, чтобы он был, как полено? Давай пока подождем. Лучше будем его на улицу выводить. Будет узнавать окружающий мир, общаться и удовлетворять потребности.

И Горация стали выводить. Его вынесли на улицу и опустили на газон перед домом. Ночью подморозило, иней схватил траву ледяными пальцами. Кот сделал три шага по ледяному покрову и остановился. На него нахлынули запахи. Не тонкая струйка, что лилась дома через фрамугу, а густой поток со всех сторон. Морозный воздух нес запахи бензина, мусора из баков, а еще — множества живых существ, населяющих улицу, город, мир. Кроме людей, в это множество входили кошки, собаки, вороны, воробьи и голуби. И были еще звуки: сердитые окрики клаксонов, собачья перебранка у гаражей, вялый разговор у соседнего подъезда. Мир окружал Горация, он был колюч, враждебен, с ним нельзя было договориться, как с Мариной или Пастуховым. И уж точно с ним нельзя было дружить. Здесь нужно было насмерть биться за каждый рыбий хвост, за каждую радость, и ничто не давалось даром. Возможно, он таил в себе какие-то тайны, открытия чудные, но где они, эти открытия? Поди, поищи. Гораций повернулся к человеку и сообщил, что хочет домой.

— Как, уже все? — удивился Пастухов. — А гулять?

Кот тянулся вверх, цеплялся за брючину.

Пастухов был упорен, и зимой сделал еще одну попытку (две попытки) познакомить Горация с действительностью. Но они кончились так же бесславно.

— И что же, ты так и будешь в четырех стенах сидеть? — упрекал Пастухов. — А как же зов природы? Гормоны? Может, они у тебя чем-то подавлены?

Гораций не отвечал — он хотел домой.

И они вернулись домой, в теплый мир радости и покоя, где высился манящий диван, бормотал вечерами телевизор, пела в урочный час яичного цвета птица, где запах рыбы сплетался с ароматом мяса, где иногда ложилась на стол скатерть, звучали в прихожей чужие голоса, заставляя Горация прятаться за шкаф, и звенели бокалы — а потом чужие уходили, и они снова оставались втроем. Чего еще желать?

— Ладно, весной еще раз попробую вынести, — сказал Пастухов. — Сейчас плохое время.

Гораций был с этим полностью согласен. Снаружи было плохое время: густо валили белые хлопья, злобно выл ветер, тараня стеклопакет, и Марина, возвращаясь с работы, жаловалась, что машину стало невозможно припарковать — возле офиса совсем перестали

чистить. Год добежал до финишной черты, окунулся в сугроб и опять предстал молодцом с новой цифрой на груди. На кухне сменили календарь, за окном расцвели фейерверки, и Гораций неделю доедал лакомства с праздничного стола.

За зиму он заметно вырос, шерсть стала густая, шелковистая — залюбоваться можно. Марина охотно показывала кота гостям — конечно, если удавалось выманить его из-за шкафа, что случалось не всегда.

Временами на Горация накатывало непонятное возбуждение, глаза загорались, тело изгибалось дугой, и он принимался с урчанием когтить коврик возле дивана.

— Смотри, ведь это он кошку себе представляет, — замечал Пастухов. — Подмена естественного процесса. Может, тебе подругу поискать?

Гораций отмалчивался.

Приходя после лекций, Пастухов стаскивал галстук, костюм, бросал где попало и падал на диван. И вот так он лежал однажды, вкушая покой, и внезапно почувствовал, как под рукой оказалось что-то гладкое, шелковистое. Глянул — рядом лежал галстук. Гораций сидел тут же, но глядел в сторону с видом «А я что? Я здесь ни при чем».

— Ну-ка, ну-ка, — сказал Пастухов.

Скомкал шелковистую удавку, бросил в угол. Кот чуть помедлил, затем, не теряя достоинства, прошествовал в нужную сторону и принес хозяйскую вещь повторно. Пастухов дотянулся до тапочка, бросил его. Гораций принес и тапочек.

— Марина! — позвал Пастухов. — Посмотри это представление.

Марина пришла с кухни, посмотрела.

— Он прямо как такса! — заявила. — Или сенбернар. Может, он мне сумку из магазина поможет носить?

— Возможно, — согласился Пастухов. — Только маленькую.

— Никогда не слышала, чтобы кошки так себя вели. Он у нас какой-то особенный. Ай-кью выше нормы.

— Да, интеллект на высоком уровне. И способность к взаимопониманию. Правда, Гораций?

Кот молчал, глядел искоса.

Летели дни, как пчелы, с цветка на цветок, то пустые, то полные меда, но и угроза в каждом таилась — будь осторожен. Пастуховы не боялись бед, верили в... трудно сказать, во что, но мед получали исправно. в марте Пастухов поместил статью в уважаемом научном

журнале, а в апреле Марина приобрела две горящие путевки в африканскую страну, и десять дней вместе с подружкой Таней плескалась в море и лазала по пирамидам. А Пастухов покупал рыбу для кота, зерно для птицы и писал новую статью.

Летом были поездки к друзьям на дачу, шашлыки, вечерние прогулки и ночи, полные любви. Почему-то этим летом их любовь вспыхнула с новой силой — словно искра какая пролетела, словно одолжили запас гормонов у рыжего кота, словно только познакомились. И вот однажды Марина выскочила из туалета, размахивая подозрительного вида бумажкой.

— Есть! — возгласила она. — Есть! Вот!

И началась подготовка к великому событию. Мебель в квартире пришла в движение. Телевизор был выслан на кухню, кресло — в прихожую, с перспективой изгнания, и на освободившееся место встало невзрачное деревянное сооружение.

— Кроватка, Гораций! — провозгласил Пастухов. — На сайте предлагали почти даром, я и купил. Здесь он будет жить! Сын, Гораций! Ты представляешь?

Кот немедленно забрался в кроватку, обнюхал углы, поскреб когтем толстый матрас.

— Ты это брось! — сказал Пастухов. — Здесь тебе не там! Чтоб даже подходить сюда не смел!

И, для науки и остротки, взял рыжего зверя за шкуру, встряхнул и бросил на пол.

— Зачем ты так? — сказала Марина. — Он же знакомится.

— Для науки! — сказал Пастухов. — Здесь для него будет запретная зона. Должен запомнить.

Гораций был удивлен и обижен. Но виду не показал и ушел на кухню.

Да, он был удивлен, а еще встревожен. Не только мебель переехала на другие места — все отношения в семье как-то перекосились. Кот не чувствовал прежнего внимания, интереса к себе. Он все так же терся о руку хозяина, иногда приносил вещи, но ответной любви не ощущал. Тогда и в нем самом что-то изменилось.

Однажды, вернувшись домой, Пастухов не увидел кота, сидящего у порога. Зато услышал доносящийся из комнаты хруст. Шагнул туда, не разуваясь, и увидел на ковре желтое крыло, рядом крохотную голову. А в стороне сидел Гораций, грыз то, что осталось от птицы. Услышав Пастухова, скосил на него глаз, но добычу не выпустил.

— Ах ты, гад! — вскричал Пастухов, разгораясь гневом. Схватил с вешалки первое, что под руку попало — зонтик, — и шагнул вперед.

Ни разу в жизни Горация не били. Не били, не драли ухо, вообще никакого ущерба от людей он не видел. Потому, когда на него обрушился первый удар, он испытал вначале сильнейшее удивление — что это? почему? — а потом уже другие, более темные чувства.

Ему было, отчего удивляться. Ведь, в конце концов, он всего лишь поступил, как велела природа. Там, в клетке, перед его глазами почти два года прыгала, дразнила добыча. А он терпел! И вот он наконец нашел, где и как залезть, как, уцепившись одной лапой за штору, другой открыть дверцу, поймать испуганно бившееся желтое тельце, вытащить его, спрыгнуть вниз — и при этом ничего из хозяйских вещей не разбить, не порвать — молодец! Нет, он не ждал похвалы, но хотя бы признания мастерства — ведь как все было исполнено! И вдруг такое!

Вслед за первым ударом последовал второй, третий. И тогда в сердце кота вспыхнула ярость. Шерсть на нем встала дыбом, пасть раздвинулась, обнажая клыки, из горла вырвалось угрожающее шипение.

— Вот ты как! — вскричал Пастухов, и ударил злобного зверя ногой, отчего тот отлетел в сторону.

Гораций не стал вступать в бой. Развернулся и отправился в самое глухое и недоступное место, за диван. И не выходил сутки. Ни к кормушке не выходил, ни к поилке. Только ночью ванную посетил — нужду справить. Лежа в своем убежище, он слышал, как люди счищали с ковра остатки его добычи, обсуждали происшедшее.

Спустя сутки ярость в сердцах обоих участников схватки (в сердце Марины ярости вовсе не было, простила сразу) угасла, что открыло дорогу к примирению. Кот поел, попил, стряхнул приставшую к шерсти паутину и занял привычное место на коврике. И все стало как прежде — правда, с некоторыми отличиями. Обиду стряхнуть оказалось труднее, чем паутину — пристала, не оторвешь. Гораций опять встречал хозяина в прихожей, при его появлении издавал негромкий приветственный возглас. Но ни тапки, ни иные предметы гардероба больше не приносил и о ноги не терся.

— Что ж, отношения не могут быть совсем бесконфликтными, — заключил Пастухов. — Важно суметь найти выход из конфликта. Это целая наука, поверь, Гораций. Но мы с тобой нашли выход, правда? Кот молчал.

Прошел положенный срок, и однажды осенним вечером Марину увезла машина с красной полосой на боку. Гораций остался с Пастуховым. Снова, как и во время поездки женщины в Африку, никто не размораживал коту рыбу — давали, как из магазина принесли, комом. И воду в плоску забывали налить, но Гораций терпел.

На третий день Пастухов куда-то уехал, и кот остался один. Подошел к кровати, запрыгнул, осмотрелся. На матрас была постелена простыня, поверх лежало одеяло, по стенкам развешаны яркие игрушки. Кот все это осмотрел, обнюхал и улегся посередине. Ему здесь не слишком нравилось, но нужно было освоить новое место.

Прогудел лифт, залязгала, открываясь, дверь; Гораций пошел встречать. Марина выглядела уставшей, Пастухов бережно нес какой-то сверток и весь был проникнут сознанием. Сверток положили на диван, распеленали. Существо, находившееся внутри, открыло глаза и издало звук неясного характера.

— Васенька! — сказала Марина и понесла сына в кровать.

Гораций немедленно запрыгнул следом. Обнюхал маленькое теплое тело, взгляделся в серые мутные глаза и потянулся мягкой лапой к щеке — потрогать.

Однако потрогать не удалось. Кот был грубо схвачен за шкуру — как тогда, как уже было. Но на этот раз его не бросили на пол, а стали бить — по телу, по лапам, снова по телу.

— Не смей сюда лазить! — внушал Пастухов, орудуя тапкой. — Не смей ребенка трогать! Запомнил? Запомнил?

Гораций, потрясенный, вне себя от обиды и возмущения, орал, как никогда в жизни.

Наконец назидание закончилось, и кота бросили на пол. Он постоял немного и ушел за диван. Сидел там, ожидая, пока обида сойдет и можно будет получить хоть каплю, хоть крошечную долю тепла от окружающего — от запаха готовящейся еды, голосов людей и всего прочего, что составляло его жизнь до сей поры.

Но обида не уходила. Сгустилась внутри и горела все жарче, словно атомный котел. Как он мог?! Как он мог?! Ярость, словно изжога, подступала к горлу кота. Утолить ее могла только месть.

Гораций ждал, когда люди уйдут. Он не вышел, когда нового жильца Василия кормили, когда его купали в ванночке, потом пеленали, а он гукал и смеялся. Не вышел и ночью, когда Марина вставала, чтобы покормить ребенка. И под утро не покинул свое

убежище, чтобы справить нужду: нужду следовало сберечь, как орудие мести.

Но вот люди ушли, захватив с собой Василия. Тогда Гораций вышел из своего укрытия, залез в кроватку, напрягся...

...Вернувшись с прогулки, Марина вынула ребенка (сонного, с розовыми после мороза щеками) из коляски и понесла в кровать. Однако еще на подходе к кровати уловила знакомый отвратный запах. Удивилась — откуда? Сделала еще шаг — и увидела на простыне три темных комка.

— Ты только посмотри! — вскричала.

Пастухов прибежал с кухни, взглянул и отправился разыскивать виновника. Обнаружил за шкафом. Однако схватить преступника оказалось не так просто — он забился в глубину, шипел и норовил укусить. Пришлось отодвинуть шкаф (Гораций переместился за диван), надевать рукавицы, что употреблялись на пикниках, для обслуживания мангала. Наконец виновник был схвачен, примерно наказан и выброшен на лоджию.

Так началась война. Каждый раз, когда люди уходили, кот залезал в кроватку и гадил. Пастухов, обнаружив очередное надругательство, находил злодея (кот нашел новое убежище — на кухне, за мойкой; выковырять его оттуда было особенно трудно) и нещадно порол — ремнем, линейкой, а потом и специально принесенной с улицы палкой. Но это не помогало. Наоборот — кот находил все новые, более изощренные способы навредить людям. Он драл обои (чего раньше не делал), метил углы, ночами будил хозяев, с воем бегая по всей квартире, или на кухне забирался на стол и опрокидывал все, что там стояло — солонку, сахарницу, чашку с водой... Вытаскивал мясо из кастрюльки, стоявшей на плите...

— Знаешь, я, наверное, рядом с кроваткой спать буду, — заявила однажды Марина. — Кресло поставлю, и там буду спать. А то мне за ребенка страшно. Что если он ночью в кровать заберется?

— Нет, в кресле ты спать не будешь, — заявил Пастухов. — Этому надо положить конец.

Он извлек рыжего негодяя из его убежища, но сечь не стал. Вместо этого открыл дверь и выбросил кота на лестничную площадку.

— С нами жить не хочешь — живи здесь! — сказал.

И дверь закрыл.

Прошла минута, две — и за дверью раздался истошный вой. Гораций кричал, как сирена, как трубы иерихонские. Слышно было, как этажом выше открылась дверь, и женский голос позвал:

— Киса, киса! Ты голодный? Иди сюда, бедненький!

Но Гораций не хотел на чужой этаж, к другим людям. Он хотел домой. И Пастухов не выдержал. Он открыл дверь и приготовил речь, с которой следовало обратиться к рыжему зверю.

Однако поговорить не удалось: кот шмыгнул между ног и исчез в недрах квартиры.

— Надеюсь, это был для него хороший урок, — сказал Пастухов.

Действительно, целые сутки кота не было слышно. Марина в знак примирения наложила ему в миску порцию рыбы, налила воды. И Гораций принял этот дар — к утру миска опустела. Но когда днем Марина вернулась с прогулки, она вновь увидела в кровати следы надругательства. А кота снова нигде не было видно.

Пастухов вернулся с работы под вечер и узнал плохую новость.

— Что ж, как видно, другого выхода нет, — сказал он.

Заглянул за мойку, увидел два горящих зеленых глаза. Тогда он оделся, обулся, надел рукавицы. Отодвинул мойку, схватил рыжее чудовище и понес прочь.

Вновь, как два года назад, Горация вынесли на улицу и опустили на газон. И вновь было морозно, и трава покрыта ледяной коркой. И вновь, как и тогда, враждебный мир окружил Горация и потянулся к нему ощеренной пастью. Кот обернулся к человеку и сообщил, что хочет домой. Он был готов забыть все обиды.

— Нет, одного «мяу» не хватит, — сказал Пастухов. — Ты должен осознать. Четверть часа посидишь, осознаешь, тогда заберу.

И ушел. А кот остался.

Человек и правда хотел вернуться минут через десять. Он даже свитер не стал снимать. Но тут, как нарочно, из журнала пришло письмо, в котором требовали срочно внести правку в статью. Срочно внести и выслать. И Пастухов принялся вносить.

Отправив наконец сообщение, он взглянул на часы и понял, что прошло больше часа. Поспешно обулся и вышел во двор.

Кота не было.

— Гораций! — позвал Пастухов.

Никто не отозвался.

Пастухов обежал вокруг подъезда, заглядывая в подвальные окна.

— Гораций, Гораций! — кричал он, и редкие прохожие дико смотрели на него. Но ему было все равно. — Гораций! — звал он. — Киса!

Он обошел вокруг всего дома, обследовал мусорные баки. Кота не было.

На другой день Пастухов упросил слесаря открыть ему подвальную дверь и обследовал подвал. Обнаружил полдюжины кошек, но своего не нашел. Вернувшись домой, он сел писать объявление о пропаже. Но расклеивать эти обращения они с Мариной так и не стали: не верили, что будет польза. И потом, у их кота не было никаких особых примет — ни пятна на морде, ни ленточки на шее. Как опишешь, что он родной?

Прошел месяц, затем и второй. Миску, из которой ел рыжий кот, убрали за мойку. Василий плавал вечерами в ванночке, учился садиться. На кухне висел новый календарь, полный надежд. Густо валили белые хлопья, злобно выли Борей с Гипербореем, и машину вновь было трудно припарковать возле офиса. Однажды, возвращаясь после лекций, Пастухов вдруг заметил сидящего возле дома рыжего кота. Кот сидел к Пастухову спиной, но что-то в посадке головы показалось человеку знакомым. Он подошел ближе, позвал:

— Гораций!

Кот вздрогнул, припал на лапы и сделал движение, словно хотел обернуться. Но не обернулся. Снова выпрямился и сидел неподвижно.

— Гораций! — вновь позвал Пастухов и сделал шаг вперед — погладить.

Кот не спеша поднялся и скользнул в ближайшее подвальное окно.

— Может, это и не он? — пробормотал человек, удаляясь.

И было еще одно видение Пастухову — уже весной, когда по утрам хрустел тонкий ледок на лужах, а днем припекало и неслись по мостовой потоки. Снова он возвращался домой и увидел лежащее на газоне мерзлое рыжее тельце. Пастухов подошел, наклонился. Пасть была ощерена, глаза остекленели, цвет их было не разобрать. Ничего узнаваемого в этом трупике, похожем на полено, не было. Решительно ничего. И Пастухов пошел прочь.

МОРСКАЯ

Лицо было прекрасно. Взбегая вверх от бровей, открывался гладкий, ровный, замечательный лоб. Не круто взбегал (к чему нам такая нависшая скала?), но и не покато, не высоко, но и не низко — на сколько надо, на столько и взбегал. Чудесный лоб, дивное вместилище воспоминаний, тонких наблюдений, глубоких знаний и всего

такого прочего. О, если заглянуть в эту сокровищницу, вы будете просто поражены!

И там, на вершине, куда поднимался этот замечательный лоб, вились и струились шелковые, золотистые, чистые-чистые волосы. Ах, как хороши! Не такие, конечно, длинные, как у Лены — те спадают соломенным чудесным водопадом до самой попы — мечта! Но и не жесткая черная проволока, как у Тамары. Вполне приличные, удачные волосы. Прическу все никак не получается сделать, достойную таких волос. в последний раз Катя обещала выполнить нечто особенное, возилась, возилась — целый час возилась — а вышло так себе. Надо будет искать другого мастера.

Но что мы все про волосы да про лоб! Надо и ниже посмотреть. Опустить взор — и станут видны такие же шелковистые брови, а главное — глаза. Да, вот они — чудные, манящие, цвета молочного шоколада или кофе. Манящие, тревожные, дерзкие, полные тайн и обещаний, хранящие на дне — что хранящие? Ну, так вам и скажи! Не скажу, затаю сокровенное. Сказанное слово лживо, всем известно; лишь только прозвучит — сразу жухнет, чернеет, словно опавший лист в костре; чернеет, распадается в труху. Ее взор полон тайн, оторваться от него нельзя — и этим все сказано. Кстати, надо ресницами заняться — где щеточка? Вот так, так. Несколько точных движений — и глаза сияют в обрамлении ресниц, словно бриллианты.

Ну, а дальше что? Дальше следует вполне приличный носик, не будем на нем останавливаться, ну, а затем — губы. О, эти губы, полные меда, и... ну, чего еще полные? Да всего, всего самого лучшего, что только можно представить. Губы, созданные для поцелуев! Да, конечно, могли бы быть немного сочнее, немного рельефней — как у этой дуры Аллы из отдела пропаж. Вот уж где губы! Каждый обернется. Но ведь важна не только форма, важно и содержание. Важны мимика, жест, взгляд. Нежная полуулыбка, блеск глаз — вот так, вот так! Нет, Алла так не сможет, куда ей, дуре! А если попробует, выйдет кривляние и глупость. И вообще, хватит про Аллу, и про Лену, и про других прочих — это может сбить с тонуса, деморализовать. А сейчас, наоборот, требуется... Что это за звук? Случайно, не ключ?

Она замерла, прислушиваясь. Матери было рано приходиться, совсем не ко времени. Нет, нет, к чему так рано? При ней — какой настрой? При ней сразу полезут из всех щелей прожитые вместе недели, месяцы, побегут по стенам, как тараканы, чертова про-

два месяцев, загадят зеркало, и тогда — куда идти? Какая встреча? К чему готовиться?

Но нет, нет, обошлось! Щелкнул замок, забубнил противный голос — соседка. Это всего лишь соседка. Значит, можно продолжить.

Так, на чем мы остановились? Да, рот! Этот алый, манящий — да, у меня все тревожит, все манит, такая уж родилась! — прекрасный рот. Вот, возьмем помаду, поправим, наложим чуть гуще — хорошо! Ровные — ну, почти совсем ровные — зубы, пломбы не видны, прекрасно. Рот, созданный, чтобы им любоваться. И он будет любоваться — куда денется? Дальше шея (о! о!), ключицы-лопатки, не особенно интересно, а потом — потом то, что особенно привлекает мужское внимание. Тут, если опустить взор, можно увидеть многое, многое. Это, если кто не в курсе, называется грудь. Не такая, конечно, какие помещают на обложках, но вполне соответствует. На улице, чтобы вы знали, оглядываются. Да, оглядываются, смотрят! А что ж ты не оглянешься? Не оглянешься, не улыбнешься, плечиком не дернешь? Но как же это — на улице? Только представить этот диалог: «Где познакомились? Ну, на улице...» И что тогда будет. в гостях у подружки — другое дело. Это вроде как Судьба. Вроде как Там все устроили. Это будет правильно.

И вовсе она не зависит! Во всяком случае, не так зависит, как два года назад. Или двадцать. А что они продолжают жить вместе — так это же удобнее. И потом, сколько еще осталось этого совместного проживания? Совсем ничего осталось. Вот снимет квартиру, и будет у нее все отдельно. Конечно, трудно представить, как это — отдельно. Трудно представить, но ведь другие как-то живут, верно? Тома вот с юных лет одна живет, и ничего. Не одна, конечно, с этим Сережей, а раньше с Пашей, а раньше еще с одним, я его только мельком видела; факт тот, что — без родителей. И Лена так живет, и маленькая Наташа из отдела усушек. Другие живут, а я что — не могу? Прекрасно обойдусь. Ведь летом научилась обходиться? Научилась. Второе лето не ездит с матерью в Чудноморское, не живет у мрачного Тимофей Хмурыча, не варит пельмени на плите, не валяется до одурения на пляже, где кругом одни только жирные тетки да дети при них, и только на этих детей и можно смотреть, больше не на что. И ни одной радости, ни одного селфи за весь отпуск. И так злит, колет, как репейник, эта мамина фраза: «Ведь ты у меня Марина, ты морская, ты связана с морем...»

А теперь вот не связана! Второй год ни с чем не связана и отпуск проводит, как хочет. Свобода, свобода! Кругом, как оказалось, столько интересного! Она и на лошади покаталась (у Томя знакомая семья держит лошадиную ферму на Медведице, обучают верховой езде, пятьсот рублей в час), и на байдарках сплавилась по той же Медведице — столько впечатлений, за час не расскажешь! — и бывала в лагере уфологов на утесе... Она вырвалась, она дышала полной грудью, кругом ходили, смеялись, дышали полной грудью (мускулистой, загорелой) крепкие веселые парни, и она ловила их взгляды (два взгляда, три взгляда за день)... Познакомилась с бородатым Эдиком, и с Костей, и с молчаливым Петей, и с... забыла, как звали того чудика, с которым целовалась в последний вечер. У нее даже кровь как будто по-другому по жилам потекла, и грудь округлилась, и вся она стройнее стала — честное слово! Она совсем, совсем изменила свою жизнь за эти два отпускных месяца — в прошлом году, и в этом. Она...

Одно только осталось прежним — одиночество. Какие-то взгляды ловила, какие-то руки ее касались — и все без последствий. Одно касание не считается, один поцелуй (два поцелуя, три поцелуя) в темноте не считается. Как говорится, одна снежинка — еще не снег. И это лишало смысла всю ее свободу, всю эту новую жизнь.

Проклятая скованность! Чертова неуверенность! Неумение правильно сесть, усмехнуться, вскинуть глаза, поставить себя с новым человеком, обозначить — что я, кто я. А все мама! Подруги уже в восьмом классе ходили на танцы, на свидания, всюю целовались, позволяли многое — и позволяли, и познавали, давали и получали, дышали полной грудью. А она до одиннадцати (все по часам! в одиннадцать — спать) сидела над уроками, ходила в музыкальную школу и на балльные танцы, где эта злая ведьма, Таисия, на всех орала: «Носок, носок держать!» — а сама страшная, как смерть. И такая безнадега из глаз, и из ушей, и вокруг, и везде безнадега — и на балете этом, и на музыке. Оттого она и росла такая пришибленная. Один только разочек, уже в десятом классе, на 23 февраля она ускользнула — ускользнула, вырвалась, и мать не знала! — на квартиру к Кулаковой. Была такая Зоя Кулакова, квартира трехкомнатная, а родители куда-то делись (в кабак? на фронт? в аквапарк? да какая разница!), и вот там она познала, что давно полагалось...

Она отошла чуть назад, повернулась. Может, юбку все же короче надеть? Ту, кремовую. Что значит «слишком откровенная»? И ничего не слишком. Может, тот знакомый Тома, про которого она мельком говорила, как раз и ждет, что будет все откровенно? Может, он ходок? Летчик? Силовик? Оптовик? Весь поджарый, веселый, злой, руки жилистые, и на руках — жесткие черные волосы. Говорить он будет мало (такие всегда говорят мало), негромко, шутить редко, смотреть будет куда-то вбок. А потом скользнет взглядом по ее губам, полным меда, по округлым бедрам, обтянутым кремовой юбкой — и зацепится, не оторвется. Положит руку ей на плечо, скажет негромко: «Я вижу, вы предпочитаете красное?» И она ответит... Да какая разница, что? Что-нибудь да ответит. И завяжется разговор — легкий, веселый, весь из намеков, из многоточий, ни о чем — и обо всем. Губы, полные меда... Да, я сеть, я рыбак — где ты, моя рыбка? Вот я, рядом, — руки жилистые, на руках волосы, на подбородке щетина двухдневная. И оттуда, от Тома, они уже пойдут вместе... Куда? Да не все ли равно! Куда-нибудь. И начнется совсем другая, неизвестная жизнь.

Да, решено: менять, скорее менять. Она бегом кинулась в комнату, достала юбку, оглядела придирчиво: гладить? Или не надо? Стянула черную, скучную, еще раз повернулась перед большим зеркалом. Да, надо признать: корма несколько подкачала. Кормой к нему, злomu и поджарому, лучше не поворачиваться. Вот как-то так встать, в три четверти — будет в самый раз. Так и грудь лучше смотрится.

Она глянула с одной стороны, повернулась, поглядела с другой. Вдруг подумалось: что сказала бы мама, если бы увидела, как она вертится перед зеркалом в одном белье. Это ужас что было бы! Ураган, тайфун! «Девушка не должна! Девушка не может! Девушка должна...» И так всю жизнь, всю жизнь, все эти проклятые тридцать два года.

Не надо было вспоминать про возраст. Ведь читала же, читала и слышала, что существует магия чисел. Черная такая магия, черной иглой впивается в мозг, ледяным туманом застилает глаза, и они начинают видеть все иначе. Вот и сейчас — стоило назвать эти две проклятые цифры, как вдруг кольнуло в пояснице, и заметна стала вена, набухшая на левой ноге, и цыплячьи, лишенные всякой привлекательности колени (проклятье всей ее жизни, эти колени), и опять же корма... Тридцать два года! Какой ужас! На что еще можно надеять-

ся, о чем мечтать, когда с севера, из проклятого стылого будущего ледяной глыбой надвигается старость? Какой там знакомый, какой разговор, полный намеков! «Девушка не должна...» Впереди — не ночи, полные огня, и страсти, и блеска, не путешествия с приключениями, а бесконечная череда тусклых ночей, проведенных на узкой тахте, купленной, еще когда она перешла в одиннадцатый класс. День на работе, ночь на тахте, а утро на тесной кухне, где они с мамой завтракают творогом или овсянкой. Мама могла бы не вставать так рано, уже давно не работает, спешить некуда. Но она считает своим долгом садиться за стол вместе с дочерью, проводить ее на работу. Зачем? Зачем? Не провожай меня, не заботься обо мне, ты задушила меня своей заботой! Бесполезно. Маме говори, не говори — она не услышит. Все как об стену горох, как снег о стекло — сухой сыпучий снег, что швыряет в стекла квартиры январская вьюга.

Маму тоже можно понять. Когда-то (когда — не спрашивайте, она молчит) жизнь научила ее, что она, жизнь, полна опасностей и угроз. Вся состоит из обмана, подлостей, подначек, жадные рыла глядят из-за каждого угла, норовят оторвать твое кровное, и нужно сильно постараться, всю жизнь положить на то, чтобы защитить свое дитя от ужасов, что подстерегают на каждом шагу. Нависнуть зоркой волчицей над своим единственным сокровищем, своей кареглазой девочкой, нежной, морской, и высматривать: откуда угроза? Откуда крадется враг? Да, можно понять. Но от этого ничуть не легче. И можно надеяться только на одно: что там, в поликлинике, образуется очередь (там всегда очереди), хирург опоздает на прием, потом будет долго возиться с одной старухой, с другой — и мама не придет ни через пять минут, ни через двадцать пять. И она успеет погладить юбку, тронуть пудрой вену, еще раз подвести глаза — и пойти...

Да, подвести глаза! Ведь на них вся надежда, на эти глаза, полные тайн, на это лицо, полное... ну, чего оно там полное? Очарования, наверно. Давайте взглянем, давайте взглянем...

Она шагнула к зеркалу, взглянула — и застыла.

Лицо было ужасно. Близоруко щурились испуганные, замерзшие от страха, словно пельмени в морозилке, глаза. От них веером разбегались во все стороны морщины, морщинки, складки — эрозия почвы, ничего не поделаешь. А посреди этих складок и холмов торчал, как сосна на скале, как постовой на перекрестке, как реклама посреди «быть или не быть?» — одинокий неуместный нос. И вокруг все было

такое же несуразное, некувырное — торчащие в стороны уши, засохшие, готовые облететь кудряшки, унылый узкогубый рот... с таким лицом вполне можно было претендовать на роль в каком-нибудь ужастике типа «Новые мертвецы. Перезагрузка» — не на главную роль, конечно, а на массовку, которую съедят в самом начале.

Ноги вдруг ослабели, и голова закружилась; она нащупала сзади стул и села, все так же не отрывая глаз от лишнего жалости стекла. Мама права: куда идти с таким лицом? с этими двумя цифрами, что давят, как гири, на плечи, гнут к земле? с дряблым прошлым и серым настоящим? На что можно надеяться с таким лицом и такими ногами, кого просить о помощи?

Она наконец смогла оторвать взгляд от зеркала, опустила глаза. Что это она все еще держит в руке? Ах, да, короткая юбка. Какая глупость! Кого ты собиралась завлечь? Кого обмануть? Судьбу не обманешь. Надо поскорей, пока мама не вернулась, убрать этот жалкий реквизит соблазна, смыть макияж и... что потом? Да какая разница, что? Что стирку затеять, что тесто месить, что ящик смотреть — все одинаково лишено всякого смысла, все тусклое, измызганное — глаза бы не глядели!

Кажется, решение было принято. Решение принято, точка поставлена. Однако она не двигалась с места. Все так же сидела, глядя куда-то вбок, сжимая в руке юбку. И, сидя так, она внезапно почувствовала, как в душе, с самого дна, поднимается и крепнет... злость? Да, пожалуй, злость. На себя, на маму, на судьбу — на все. А еще ярость. Поднималась, как волна (да, ведь во мне есть что-то морское, стихийное!), как тайфун, смерч, торнадо. Был бы у нее сейчас нож, и был бы поблизости кто-то, кто не подпускает ее к жизни, держит в узде, — убила бы.

Еще не понимая, что она делает, зачем, она встала, надела юбку, застегнула молнию. Повернулась перед зеркалом одним боком, другим, со спины заглянула. А что, хорошо смотрится! Так, теперь заняться лицом. А то тут кто-то собирался рыдать; раздумал, правда, но все равно, какие-то ручейки стекли с горных кражей, оставили следы. Вот мы их сейчас платком, а потом пудрой, и щеточкой — и ничего не видно, никаких ручейков. Все, я готова. Идем?

